





А
АБДИЖАМИЛ
Н
УРШЕИСОВ
КРОВЬ И ПОТ

Книга третья

КРУШЕНИЕ

Авторизованный перевод с казахского
Юрия Казакова

Издание восьмое

ДОЛГ

Авторизованный перевод с казахского
Герольда Бельгера и Петра Краснова

РОМАНЫ

Том 2



АЛМА-АТА «ЖАЗУШЫ» 1984

821.161.1(574)-3

Каз 2
Н 90

КХ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ
№ 00041659

Н 4702230200-201 209-84
402(05)-84

© Художественное оформление,
перевод на русский язык, «Жазушы», 1984.

Книга третья

КРУШЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Заходи! Кто там?— крикнул Мюльгаузен, заслышав стук прикладов и грубый топот сапог в сенях.

Мюльгаузен в нетерпении вышел из-за стола, но там, за дверью, не спешили. Перед тем как войти, задержались у слегка приоткрытой двери, сморкаясь и глухо переговариваясь. Кто-то старательно откашлялся, прочищая простуженное горло, будто собирался петь. Кто-то поспешно докуривал самокрутку, а потом сплевывал и гасил, тщательно растирая каблуком окурок по грязному полу. Наконец человек шесть командиров в разномастной одежде ввалились в комнату.

«Вояки!»— подумал Мюльгаузен, разглядывая их. В комнате было пусто, голо — несколько грубых скамеек и стол. Мюльгаузен ходил перед столом, пока остальные рассаживались, и под сапогами его потрескивали разохшиеся половицы.

— Все собрались?— громко спросил он, останавливаясь.— Готовьте людей, выступаем.

— Куда?

— В долину Жем.

— От... продотряда известия?— спросил Ознобин. Голос его вдруг сел, и он закашлялся.

— Помощи просят.

— Там же тихо было. Опять Дутов?

— Ну, готовьте бойцов. Только быстро!

Командиры торопливо поднялись, вывалились гурьбой, затопали в сенях и по крыльцу. Остался один Ознобин. Он сидел понурясь, крепко сжимая узловатыми пальцами свою старую замасленную кепку, с которой не расставался ни зимой ни летом, и терпеливо ждал, когда наконец Мюльгаузен заговорит с ним. Длинный, он совсем согнулся и сидел неподвижно, словно вечерняя тень.

— Ну что скажешь?— спросил Мюльгаузен, разглядывая его.

— Как у них там дела?

— А я откуда знаю? Небось несладко...

— Патронов у них мало... Ты с дивизией не связывался?

— А?

— С дивизией, говорю...

Мюльгаузен только гмыкнул. Переспросить Ознобин не решился. Он не любил, когда у Мюльгаузена становилось кислое лицо, говорить с ним в такие минуты было тяжело.

— Свяжись с дивизией,— все-таки выговорил он.— Они ближе к долине Жем, чем мы, скорее подойдут на помощь.

— Гм... Еще чего скажешь?

— Там ведь у нас есть еще продовольственные отряды. Вот бы их объединить! Пока Дутов с ними возился бы, мы бы и подоспели...

Мюльгаузен сел за стол, нахмурился. Взял какую-то бумагу, начал читать, потом бросил, усмехнулся.

— Я гляжу, на кой нам комиссар со стороны? У нас свой есть.

— Тут не до шуток...

— А я не шучу.

Ознобин поднялся и, напяливая на ходу кепку, вышел. Голову держал он понурился, руки поматывались, будто пришитые. «Вот старый хрен!»— подумал Мюльгаузен.

Не успели затихнуть шаги Ознобина, как хлопнула дверь и в комнату торопливо вошла телеграфистка. Мюльгаузен поднял на нее настороженные глаза.

— К нам комиссар выехал!

Она протянула ему телеграфную ленту, но Мюльгаузен не взял ее, холодно рассматривая возбужденную девушку: «Дура! Чему радуется? Нам бы боеприпасов побольше, а не комиссара...» Телеграфистка положила телеграмму на стол, растерянно поглядела на Мюльгаузена и ушла.

Оставшись один, Мюльгаузен откинулся на стуле, покосился на ленту издали. «Приедет хам какой-нибудь в кожаной тужурке!»— подумал он. Поднялся, обошел стол, на ходу захватил, смял в кулаке ленту. Опять начали скрипеть половицы под тяжелыми шагами.

Ему почудилось было, что кто-то поднимается на крыльцо. Он круто остановился. Короткая, с бычьим загривком шея его не поворачивалась, и, остановившись, он по-волчьи, всем телом поворотился к двери. Но никто не вошел. Мюльгаузен подошел к окну и оперся о подоконник.

Старый карагач, зимой и летом возвышавшийся над домом, теперь изгибался под ветром, шелестели засохшие листья, скрипели и гудели ветви. Со станции донесло гудок паровоза.

Мюльгаузен закурил, жадно затянулся. То ли звуки, шорохи с улицы, то ли табачный дым так подействовали на него, но он успокоился и решил доложить о неприятных известиях командиру дивизии. Он потянулся было к телефону, но раздумал. Прежний командир дивизии погиб в бою под Эмбой, а с новым Мюльгаузен не ладил. Они еще не видались друг с другом, но уже одна фамилия нового командира приводила Мюльгаузена в ярость. Хан-Дауров! Надо же — Хан-Дауров!

Телефонные разговоры с Хан-Дауровым только злили Мюльгаузена. Он не выносил рокочущего в трубке командирского баса, раскатистого, как рык медведя в берлоге, с кавказским акцентом, и даже трубку отстранял от уха.

Видит бог, это он нарочно посылает к нему комиссара, чтобы связать его по рукам и ногам. Ну что ж, пускай приезжает! Пускай попробует связать! Гм... Хан-Дауров! Бывший царский офицер. Теперь лижет задницу красным. И ведь новый человек, ни черта не знает, не разбирается в здешней обстановке. У населения нет хлеба, у рабочих отрядов — патронов! Вот о чем надо заботиться. Нет, он посылает ему комиссара!

После того как атаман Дутов захватил Оренбург, положение рабочих отрядов стало критическим. Связь с Москвой была прервана. Доставка боеприпасов, оружия и продовольствия прекратилась. Дней пять назад кое-как сколотили рабочий отряд во главе с одноруким сыном Ознобина и отправили в долину реки Жем выбивать хлеб. Завтра или послезавтра отряд должен был вернуться с хлебом. И вдруг страшная весть — появились передовые сотни атамана Дутова! Ах, сволочи, ведь разобьют отряд!

Мюльгаузен все же позвонил в штаб дивизии. Он начал было рассказывать об отчаянном положении продотряда, как начальник штаба перебил его и сообщил новость почище: узнав о подходящих частях Дутова, казаки подняли мятеж в Акбулаке и Мартуке.

— Грузи бойцов в эшелон и с ходу подавляй мятеж! — приказал начальник штаба.

Мюльгаузен побежал на станцию. Все это лето стояла жара. Но со вчерашнего дня погода испортилась, с севера задул пронзительный ветер. Туго охватывая тело, он проникал в рукава, за пазуху. Глаза Мюльгаузена сразу на-

чали слезиться. Он пошел боком, загоразиваясь рукавом. Стоило чуть повернуться, как песок начинал сечь лицо.

Ветер вылизал землю, отшлифовал ее, словно доску. Сапоги по земле стучали, как по камню. Мела песчаная поземка.

Мюльгаузен сплевывал скрипящий на зубах песок и думал, что в такое время опасен любой мятеж, даже самый малый, что злоба вспыхивает как порох, тронутый огнем.

Подходя к станции, Мюльгаузен увидел знакомую суматоху перед отправкой. Слышались торопливые обрывки команд, крики, звон котелков и фляг. Бойцы тащили под сумки с патронами, бегом катили пулеметы, карабкались в вагоны. На двух платформах в конце эшелона громоздились два орудия. Они смутно темнели и издали были похожи на залегших в золе верблюдов.

Мюльгаузен пошел вдоль вагонов. Плоская коробка маузера его, болтаясь на длинных ремнях, хлопала по ляжке. Круглая шапка с красным бантом была сдвинута набекрень. Любуясь сам собой, он все поглядывал на часы, подзывал к себе то одного, то другого, торопил, покрикивал густым, севшим на ветру голосом.

Но когда суета у эшелона прекратилась и Мюльгаузен собирался уже подать команду к отправлению, его внезапно позвали к телефону. На проводе был Хан-Дауров.

— Мы бросаем на подавление мятежа. Ташкентский отряд... — рокотал в трубке кавказский бас.

— Но мы уже погрузились...

— Ничего, разгрузишься! Отряд держи под ружьем, понял? У кавалерии Дутова ноги длинные, сегодня здесь, завтра у вас. А мы, дорогой, вовсе не намерены сдавать еще и ваш город.

— Ну а может быть, что он сюда и не сунется?

— Все может быть, дорогой.

— Так что нам, у моря погоды ждать?

— Зачем так говоришь, зачем погоды? Нездоровые настроения у тебя, дорогой! Не погоды ждать, а заниматься боевой и политической подготовкой в отряде. Кстати, почему молчишь о комиссаре? Комиссар прибыл?

— Нет еще...

— Как нет? Алло! Алло! Давно должен быть. Разыщи его, звони на все станции, головой отвечаешь, понял? Алло... Алло!.. — надрывался на другом конце провода Хан-Дауров.

Мюльгаузен швырнул на рычаг трубку и вышел на ули-

цу. Постоял, сплевывая и матерясь про себя, потом закурил, сунул руки в карманы и пошел в штаб отряда. Сжатые кулаки его были круглы и тяжелы, как булыжники. Скорым шагом он уже подходил к двухэтажному дому, где расположился штаб отряда, когда какой-то верховой поравнялся с ним. Мюльгаузен покосился на шубу и тумак всадника и отвернулся, решив, что это один из назойливых аульных казахов, ищущих, чем бы поживиться возле отряда. Всадник в шубе не отставал, ехал рядом, наконец сказал:

— Салаумалейкум, Петька!

Мюльгаузен удивленно взглянул на казаха. Тот был страшно худ. Бледное лицо его густо заросло щетиной. Видно было, что долгие дни не слезал он с коня и теперь еле держался в седле. Конь под ним отворачивался от ветра, грива и хвост его сухо шелестели. Всадник при каждом движении коня цеплялся за холку.

«Больной, что ли?» — подумал Мюльгаузен.

— А-а... Здорово! Ко мне?

— К тебе, к тебе...

— Чего ты у меня забыл?

— В отряд к тебе хочу вступить.

— Верблюдов, что ли, пасти? — Мюльгаузен засмеялся и пошел дальше. — Верблюдов у меня нет.

Еламан тронул коня следом. По затвердевшей земле громко застучали копыта. Обогнав Мюльгаузена, Еламан хотел спешиться, охнул, побледнел и повалился бы навзничь, если бы не поддержал его Мюльгаузен. Одной рукой придерживая Еламана, Мюльгаузен другой распахнул ему шубу. У левого плеча ситцевая грязная рубаха запеклась от крови.

— Что такое? Ну?

— Да так...

— Ранен, что ли?

Еламан вытер рукавом холодную испарину на лбу. Разлепил запекшиеся губы, хотел что-то сказать, но Мюльгаузен не стал слушать.

— Ступай в лазарет, ступай, после поговорим! — И пошел в штаб.

II

Еламану все это время было тяжело. В прошлом году, уезжая из разграбленного рыбацкого аула в Челкар, он все думал о Мюльгаузене. Вообще-то Мюльгаузен немало

добра сделал для него. Можно сказать, открыл ему глаза, за руку привел в большой мир. И все же, чем чаще думал Еламан о нем здесь, вдали от родных мест, тем больше убеждался, что между ними, как между равными, не было дружбы, согласия, теплого человеческого взаимопонимания. Мюльгаузен властен и крутонрав, больше всего он любит себя и совсем не считается ни с кем. Даже с друзьями он бывает груб и резок. При нем легко потерять достоинство, а это унижало Еламана. Но повернуть коня обратно, вернуться в аул рыбаков, где он распрощался со всеми, он тоже не мог.

В глухой, безлюдной степи Еламан оказался как бы на перепутье. И тут ему встретились караванщики. С наступлением осенних холодов аулы перекочевали на зимовье. Впереди были тяжелые месяцы зимы. И вот самые храбрые джигиты из нескольких аулов, собравшись вместе, отправились с обозом в далекий путь — в Кунграт и Чимбай за хлебом. Еламан еще думал и надеялся в глубине души, что может найти Айганшу. Ведь она убежала от басмачей Жонеут-хана почти на границе с Каракалпакией. Может, набредет на ее след... Он пристал к караванщикам да так и промаялся почти год на чужбине.

Несколько месяцев он проработал в Кунграте. Потом в поисках постоянной работы побывал в Хиве, в Ходжейли и в Ургенче. Но ни в одном из городов знаменитого Пятиградья он так и не прижился. И он к этому времени уже устал. Не нашел и Айганшу. Потерял всякую надежду найти ее и казался себе одиноким и несчастным. Весной примкнул было он к воинственному племени казахов — адайцам. Но и у адайцев не мог найти занятия по душе. Жить же без дела было невмоготу. Из аула в аул перебирался одинокий всадник, пока по дороге в Челкар не наткнулся вдруг на воров. Он стал уходить, отстреливаясь. За ним гнались, стреляли вдогонку и ранили в плечо. Еламан решил уже, что все пропало, но от смерти спас его легконогий темно-рыжий жеребец с белой звездочкой на лбу.

Да, помучился он за этот скитальческий год! Но что было, то прошло. Теперь он был рад, что опять очутился в Челкаре, что теперь он будет при деле, среди знакомых людей, с которыми когда-то пришлось ему жить и работать бок о бок.

Перебирая прошлое, Еламан забрел на какую-то кривую улочку и теперь не узнавал места. Он подсадовал на себя, что не расспросил, где лазарет. Небо плотно обложило тучами, и неизвестно было, сколько теперь времени и когда

наступит вечер. Но потом Еламан увидел на западе, где тучи были почти черны, закровеневшую нижнюю кромку облаков — значит, скоро станет совсем темно.

Еламан испугался, что в темноте совсем заблудится, и прибавил шагу. На конце, хоть и болела рана и слабость кружила голову, было все-таки покойно в тумане и шубе, но теперь, ведя коня в поводу, он почувствовал, что совсем взмок и выбился из сил. Тогда он снял тяжелый поярковый тумак и с удовольствием ощутил, как на ветру остывает потная голова.

Невдалеке от железной дороги стояли низкие каменные бараки. Еламан почему-то решил, что лазарет обязательно должен находиться в каком-нибудь из больших барачков, и побрел вдоль их унылой линии, не обращая внимания на другие дома. Но вдруг знакомый и неприятный стенияку тошнотворный запах остановил его. Он поморщился и оглянулся. Прямо перед ним белел небольшой дом. Таких небольших и, как правило, заброшенных домов, называемых лазаретами, немало повидал он в свое время на турецкой земле. В них вповалку на матрацах или просто на полу сотнями валялись раненые и больные. Обросшие, грязные, изможденные люди. У одних были забинтованы головы, у других руки или ноги. Стоны, крики, вонь и запах лекарств стояли тогда в лазаретах. «Не проваляться бы мне здесь долго», — со страхом подумал Еламан и сразу озяб. После стычки с ворами на большой караванной дороге, чтобы остановить кровь, Еламан приложил к ране лоскут подпаленной кошмы. Теперь рана воспалилась, болела, и от нее шел гнилой запах.

Молоденькие сестры, увидев рану, сморщились и начали ругать и жалеть Еламана. Быстро промыв рану, наложили какую-то бурую мазь, крепко забинтовали плечо и, к великой радости Еламана, отпустили его восвояси, сказав, чтобы пришел на перевязку дня через два. Из лазарета Еламан вышел повеселевшим.

Сумерки сошли на город. Ветер заметно потеплел, но дул все еще сильно. Тополя перед лазаретом раскачивались, посвистывая верхушками. Еламан не прикрыл за собой ворота, и пока он не свернул за угол, они все скрипели и хлопали вслед ему, то открываясь, то закрываясь.

Еламану стало совсем хорошо на душе. Он быстро шел в надвигающейся темноте и улыбался себе, будто удачливый джигит, возвращающийся со свидания. Главное, что он приехал все-таки в Челкар и нашел рабочий отряд! А какие сомнения его до этого терзали! Сколько бессонных

ночей он провел! В прошлом году, после набега басмачей, ему жить не хотелось. Весь мир ему казался черным. Теперь-то он посмеивался даже над своим тогдашним отчаянием.

Интересно все-таки создан человек. Так скрутит иногда тебя тоска, что душа корчится, как опаленная шкура. И тогда раздольный, огромный мир съезживается так, что кажется, весь уместится на ладони. Черная судьба схватит тебя, сожмет обручем и душит... Не выдержишь — и конец, задушит, ломает.

Это теперь он приободрился и повеселел, и какое-то неясное, но хорошее будущее проглянуло перед ним, как клочок синего неба в тучах. А ведь было время, его судьба чуть не сломала. Особенно в ту скитальческую пору, когда он голову не знал, куда приклонить, а в груди было все выжжено и мертво. Не чувствовал он тогда тепла и сладости жизни, не замечал солнца и луны над головой, свет которых испокон веку приносит радость всему живущему на земле.

Потом, когда на душе у него немного полегчало, когда начало оттаивать заледеневшее сердце, он вдруг как бы очнулся и — о господи! — увидел такой же, как и в дни его детства, огромный светлый мир. Все так же всходила луна над степью, все так же горело солнце. И все было как прежде. Был кто-то счастлив и богат. И была у богатого на пастбищах тьма-тьмуца скотины, над головой — крыша, в постели — горячая баба. И был кто-то несчастлив и обездолен судьбой. И у такого обездоленного единственной надеждой и опорой в жизни были собственная силушка да натруженные руки. И жил он себе, довольствуясь долей, отпущенной ему скрягой судьбой, такой скудной и ничтожной, будто горсть проса, брошенная курам.

Да, все живое на земле, будь то человек, или птица перелетная, или зверь, рыскающий по степи, все неустанно хлопочут, все бьются ради жизни, ради потомства, ради будущих поколений. И потому, пока ты жив, нечего робеть и забиваться трусливо в угол.

«А! Вот и пришел», — удивился Еламан, останавливаясь перед казармой, в которой располагался отряд. Он спросил какого-то бойца о Мюльгаузене. Того не было. Еламан растерялся: он никого не знал здесь, не знал, у кого просить постель.

Бойцы поужинали, и теперь кто пришивал пуговицу к шинели, кто прилаживал заплатку к прожженным махоркой или у костра штанам, кто просто разговаривал, а кто

и пел... В просторной, как конюшня, казарме тускло мерцала лампа. В дальнем углу шестеро бойцов, усевшись в круг, жадно накуривались на ночь, передавая после затяжки друг другу большую козью ножку, и огонек самокрутки ярко рдел в темноте.

Еламан, как всякий степняк, был непривередлив. Расстелив под собой одну полу большой шубы, он, не раздеваясь, лег.

Только теперь он почувствовал, как измотался за день и как охватывает тело сладкая предсонная истома. Сон борол его, а на заросшем, осунувшемся лице все еще бродила та нежная слабая улыбка, которой он улыбался, идя в темноте из лазарета.

«Интересно, здесь ли еще Акбала? — думал он. — Живет ли она у рыжего в доме или ушла? Или совсем уехала? Ну ладно, завтра узнаю... А теперь спать...» Так он и уснул, пригревшись, улыбаясь от хороших мыслей.

Проснулся он еще в темноте и сразу почувствовал, что не выспался, не отдохнул по-настоящему. Тело, побитое долгой верховой ездой, болело, кости ныли. Мало-помалу бойцы начали подниматься. Встал и Еламан. Кто-то уже входил с улицы, крепко стуча сапогами. Еламан стоял в проходе, поглядывая то на свою шубу, то на входивших с улицы бойцов. У дверей догорала в мутном стекле лампа. Большие тени метались, шевелились по стенам.

Еламан поднял с полу шубу и тумак, положил на нары. Оглушенный сном, он никак не мог взять в толк, что нужно делать, но когда все повалили на улицу, в одной рубахе вышел и он следом за другими. Во дворе он протолкался под струю ледяной воды и умылся. Потом вернулся в казарму, надел шубу, нахлобучил на голову тумак и опять вышел во двор. Бойцы во дворе уже строились. Еламан растерялся и не знал сперва, куда приткнуться в своей длиннополой шубе. Потом вспомнил, что в строю становятся по росту, поискал глазами в шеренге высокого, как и он, бойца и поторопился стать рядом. Пока он никак не мог привыкнуть к обстановке. Ему и думать-то о чем-нибудь было некогда. Он только удивлялся, чувствуя себя лодкой, плывущей по течению. Его будто бросило в стрежень реки, и несло, и крутило, не давая дотянуться до берега. Куда его вынесет, он теперь уж и не знал. Пока разберешься в этой заварухе, пока поймешь, что к чему, глядишь, и вынесет тебя на какой-нибудь и в страшном сне не снившийся берег.

— Сми-р-р-рнааа!— раздался командирский окрик и тут же изумленно-насмешливое:— Эт-того еще не хватало!

Еламан внутренне съезжился, быстро взглянул на надвинувшегося Мюльгаузена и отвел глаза.

— Как же пускаете его в строй в таком виде? А ну-ка марш из строя!

Еламан, понурясь, чувствуя на себе взгляды всех бойцов, отошел в сторону. Мюльгаузен не торопясь обошел строй, потом скомандовал «вольно!» и позвал к себе командиров отделений.

Со вчерашнего дня у него не выходило из головы, что от продотряда, посланного в долину Жем, по-прежнему нет известий. Если рассудить здраво, вряд ли удастся продотряду уйти от атамана Дутова. Если и была надежда, то только на одиорукого сына Ознобина. Опытный солдат, прошедший германский фронт, он один мог что-нибудь придумать, как-нибудь выкрутиться.

Вчерашний приказ держать отряд в городе бесил Мюльгаузена. В бешенство приводил его и новый комиссар, застрявший черт знает где. Его ждали еще вчера к вечеру, как вдруг пришла телеграмма, что комиссар выехал из Актюбинска, в дороге заболел и его сняли с поезда где-то возле Эмбы. Все складывалось плохо.

Ознобин предложил было послать к комиссару делегата, но Мюльгаузен только поморщился, буркнув: «А! Небось не помрет!» Все были поражены, но настаивать никто не посмел. Ознобин понуро опустил голову и нахмурился. Он лучше всех понимал состояние командира отряда, понимал, что для того был нож острый делиться с кем-то властью. Мюльгаузен вообще не любил комиссаров. Этих людей, вдохновленных партийной идеей, в последнее время стали уважать не только свои, но и враги. Мюльгаузен же был твердо убежден, что комиссар — это путы на ногах командира. И даже их одежда — кожанка, хромовые сапоги — и неизменная опрятность и подтянутость бесили его.

Так и стояли командиры, а перед ними молча прохаживался хмурый Мюльгаузен, когда прибежала испуганная телеграфистка. В лице ее не было ни кровинки, она кусала губы, стараясь не разрыдаться. Встревоженные командиры окружили ее. Мюльгаузен быстро выхватил телеграфную ленту у нее из рук.

— Ну вот, докомиссарились! Эх!..

Ознобин побледнел и двинулся к Мюльгаузену. Ноги его ослабли, и он споткнулся. Он протянул было руку к телеграмме, но Мюльгаузен, сжав зубы, быстро разорвал

ленту, и ветер тут же унес клочки. Озиобин с тоской глядел на командира и молчал...

III

К полудню Еламан совсем замотался. Утром, похарчившись вместе с бойцами из общего котла, он пошел в баню. После бани пошел искать цирюльню. Побрившись, он заторопился на вещевой склад за город. В глухом, без окон, складе он долго рылся в темноте в куче старой, пахнущей одежды, выбирая себе шинель по росту.

После тяжелой казахской шубы в шинели он почувствовал себя сразу удивительно легко и бодро. Одно только было нехорошо — шинель оказалась узковатой в плечах. Выйдя из склада, он расправил грудь и тут же с огорчением убедился, что шинель тесна ему. Рукава были коротки, далеко торчали кисти рук. И запах был от нее чужой, нехороший.

Еламан шел по безлюдной, не полетнему холодной улице и на ходу, нагибаясь и оглядывая, все щупал свою обшивку. Все-таки досадно было: торопясь избавиться от тяжелой шубы и тумака, он в темноте склада так и не разглядел толком шинель, а в ней, может, до смерти ходить. Мало того что была она узка и коротка, видно было, что побывала она до него не на одном плече. Рукава вытерлись, грудь и спина стократно пропитались потом, грязный ворот лоснился, будто затертый потник, и холодил шею.

Еламан расстроился и, чтобы отвлечься, стал вспоминать рыбачий аул. Вот уже целый год, как не имел он оттуда известий. Как там живет-поживает старый тамыр Дос? Ладит ли со Рзой? И жива ли бедная Ализа?

Перебирая в памяти всех оставленных близких, думая об их житье-бытье, воображая родной аул на берегу моря, на круче, Еламан нет-нет да поглядывал на шинель, ощупывал, мял ее там и сям. Только теперь заметил он дырку на боку, в которую свободно проходил палец. То ли у костра прожгло, то ли пробил пулей... «Уж не с убитого ли сняли?» — со страхом подумал Еламан и сразу забыл о родном ауле. Сколько людей до него носило эту шинель? И где теперь все эти люди, живы ли? Или давно уже, отведав сполна и радостей и горестей, отпущенных им на этом свете судьбой, лежат теперь где-нибудь в разных концах необъятной степи в наспех, по пояс вырытых могилах, и уж холмики над могилами давно осели или развеяны ветром?

Не одно сердце билось под этой шинелью, не одно тепло она сохраняла и, видно, не одна жизнь оборвалась под ней,

пока не нашла она тебя. Попробуй-ка теперь расстанься с ней! Поди узнай, сколько вершков тебе осталось до последнего твоего, рокового шага, за которым навсегда оборвутся твои следы. Живи, надейся и жди, пока не порвется тонкая нить твоей жизни.

Но так уж создан человек, что, даже дойдя до конечного своего рубежа, даже коснувшись носком сапога смертной межи, за которой пропадут все его следы на земле, он по-прежнему беспечно и слепо стремится дальше, будто и не начинал еще жить, будто ждет его жизнь, бесконечная и радостная...

Переполненный невеселыми мыслями, шел Еламан по улице мимо неказистых домишек, чуть не наполовину ушедших в землю. Редкие прохожие оглядывали его внимательно, быть может, стараясь угадать в нем знакомого, но он смотрел в землю и никого не замечал. Он стал думать о Рае, которому не суждено было даже лечь в родную землю, а не то что пожить на ней всласть. Потом бледными тенями прошли перед ним скорбные лица Култумы, Мунке, Тулеу... Кто погиб в туретчине, кто замерз на льду в море, кого свалила басмаческая пуля — мало ли их было!

Господи, до чего же ненасытна земля! С тех пор как создан мир, земля одинаково равнодушно поглощала и младенцев, не успевших еще осмыслить жизнь, и стариков, не брезгуя, принимала в свои холодные объятия. Тьму веков земля все прибирает в свою утробу вечно грызущихся, дерущихся, бьющихся людшек, весь их безумный род, неспособный без ненависти и убийства прожить свой мгновенный, куцый срок. И хоть бы что ей! Сколько ни подавай, все мало — и не вздыбится, не закровенеет, не исторгнет назад ни одной души.

Одному аллаху ведомо, сколько еще прольется крови, пока люди не выкинут на свалку оружие, пока последний солдат не сбросит с плеч последнюю серую шинель.

Еламан считал, что ему повезло, что он двужилый. В самом деле, сколько раз смерть стояла у него за плечом и холодом дышала в затылок, но каждый раз обходилось, каждый раз он срывался, как рыба с крючка. А в будущем кто знает? Будь хоть каким живучим, хоть каким двужилым, но пока на тебе эта серая шинель, придет когда-нибудь конец и твоему везению. В чьей-то обойме наверняка и на тебя заготовлен патрон.

Он опять внимательно рассмотрел дырку в боку, сплюнул и отвел глаза. И тоскливо ему стало, как в дырявой юрте, где во все щели свищет холодный ветер.

Еще утром у него была одна мысль: придеться, помыться в бане, побриться и пойти искать Акбалу. Но теперь ему вдруг стало все равно, и он уже никуда не хотел идти. «Неужели люди рождаются только для насилия и убийства?— думал он, исподлобья поглядывая на увешанных оружием встречных.— Ведь у каждого где-то пухнут детишки с голоду, есть мать или жена, их кормить надо, а не наливать глаза кровью. И у всех одна дорога: или сам убьет, или самого убьют. И вот он тоже надел шинель, взял в руки оружие, пошел воевать. Почему?..»

Очнулся Еламан только возле казармы. Мысли, терзавшие его душу, погасли, но не ушли совсем. Он их спрятал до поры до времени, как мелкий ворюшка прячет украденное где-нибудь под тюком, под старой одеждой.

Сделав холодно-непроницаемое лицо, Еламан вошел в казарму, огляделся. Ни Ознобина, ни Мюльгаузена не было. Бойцы сидели или лежали. Не было обычного оживления, никто не бегал, не кричал, не хохотал, будто в доме, где лежит покойник. Не решаясь пройти на свое место, Еламан остановился у порога. Растерянно переводил он взгляд с одного на другого, стараясь поймать в ответ добрый взгляд, чтобы заговорить, но никто на него не смотрел. Он подошел было к одному пожилому бойцу, лицо которого показалось ему добрым, но тот хмуро отвернулся.

Потоптавшись и вздохнув несколько раз, ничего не понимая, Еламан опять вышел на улицу. Долго разглядывал он полу шинели, черную от сажи, наклонился, поднял кусок глины и стал затирать пятно. Что же случилось в его отсутствие? Строя разные догадки, он побрел по улице. Остановился, прищурился на небо поверх плоских крыш, по которому плыли легкие белесые тучки. Потом с внезапным подозрением подумал: «А может, я им противен, раз они от меня отворачиваются?»

На улице было уныло и пусто. Вольно гулял ветер, гоня мелкую, как пудра, желтую пыль. Ветер лез под шинель, охлаждал лицо. Еламан поежился и поднял воротник. «Где же Мюльгаузен?— размышлял он.— И почему весь отряд в казарме, почему не идем в поход?»

Он хотел было вернуться, как вдруг на той стороне улицы заметил молодую белолицую казашку. В первое мгновение ему показалось, что это Акбала. Внешность, осанка, горделивая походка, одежда были те же, что и у Акбалы. И даже две длинные косы за спиной подрагивали так же, что и у Акбалы. Но это была не Акбала...

Долго смотрел Еламан вслед случайно прошедшей ми-

мо женщине, странно похожей на далекую теперь уже, прежнюю Акбалу. Потом пришел в себя и улыбнулся. Ему опять непременно захотелось увидеть Акбалу. Он опустил воротник и быстро пошел навстречу ветру, и лицо его загорелось, как бывало, когда целыми днями пропадал он в зимнем море, не чувствуя мороза.

После целого года отсутствия он не узнавал города, блуждал по глухим его улицам и часто не знал даже, куда зашел. Но теперь, будто путеводная звезда вела его, он безошибочно попал в ту часть города, где жили казахи. Улицы пошли кривые, узкие, мазанки были небеленые, приземистые, похожие друг на друга. Нигде не было ни деревца, ни кустика.

Еламан шел, оглядывал домишки, пока вдруг не остановился перед изъеденным ветрами и солнцем, размытым дождями старым глиняным дувалом. За дувалом виднелся такой же старый, обшарпанный дом. Горячая волна обожгла Еламану грудь. Об этом доме думал он беспрестанно, скитаясь вдали от родных мест.

Он даже не удивился, что так легко нашел этот дом, — непонятное, безошибочное чутье привело его сюда. С горящими глазами он быстро подошел к двери, толкнул, забыл нагнуться и ударился головой о притолоку. Не чувствуя ушиба, зацепив какое-то ведро у порога, он вошел в комнату.

В комнате до этого играли, а теперь вскочили испуганно трое мальчишек, одинаково рыжих и растрепанных.

— А где... где хозяйева? — сипло спросил Еламан, на- сильно улыбаясь.

— Отец ушел. Он работает.

— А еще... Еще у вас есть кто-нибудь?

— Апа¹, что ли?

— Апа? А... кто же у вас апа?

— Акбала.

— А-а... Значит, Акбала вам апа?

— Она у нас ай-ай-апа².

— Вот как? Так и зовете ее?

— Так и зовем. И он, и вон тот, и я — все мы зовем ее ай-ай-апа.

— Ну хорошо. А она где?

— Она ищет работу.

Все ребята были нескладные и тощие, такие же, как их отец. Еламан потрепал их по головам, грустно и ласко-

¹ Мать, старшая сестра.

² Красивая апа.

во улыбнулся и вышел вон. На этот раз он не забыл нагнуться в дверях и только во дворе уже выпрямился, поднял голову и посмотрел на небо в пестрых облаках. Потом вышел на улицу, не удержался и оглянулся на облушленный домишко. Все трое рыжих мальчишек сгрудились у окна, прижавшись носами к потрескавшемуся стеклу, и провожали его взглядами. Когда Еламан оглянулся, они разом заулыбались глазенками. И Еламан опять грустно и ласково улыбнулся им в ответ.

Все эти годы Еламан удивлялся самому себе. Давно уже дороги их с Акбалой разошлись, а он все не оставлял ее в покое, будто и без него мало ей было в жизни горя. Все у него было с этой женщиной, жил он с ней вместе и врозь, любил ее, и ненавидел, и жалел, и все чаще ему думалось, что такова уж у него судьба. Крепко, мучительно вошла она в его жизнь и не отступала. Целый год не был он в Челкаре, мыкался по чужим краям, а если вспомнить, дня, пожалуй, не проходило без мыслей о ней. И чем чаще он думал о ней, тем сильнее болело сердце, до того, что иногда хотелось вырвать его, как вырывают больной зуб. Много в жизни каждого мужчины бывает женщин, но все они скоро забываются, а вот полюбить, видно, все-таки суждено один раз. одна только женщина входит в твою жизнь навсегда.

Еламан прошел мимо дневального, стоявшего у ворот. Еще не войдя в казарму, он услышал голос Мюльгаузена, сердитый его бас. «Уж не меня ли ругает?» — подумал Еламан и, робко войдя в казарму, остановился за спиной бойцов.

— Один он виноват! — кричал Мюльгаузен, расхаживая в кругу бойцов. — Все из-за него! Связать нас по рукам и ногам... Какого черта нам здесь торчать!

— А чего о нем слышно-то?

— Когда грозился приехать-то?

— Ну погоди! Я ему, собаке, покажу хром! Я хром-то с него сдеру...

— Это он о ком? — тихо спросил Еламан, наклонившись к стоявшему рядом бойцу.

— О комиссаре.

— Как? Комиссар?

— Да, да, комиссар...

— Ага... — Еламан закивал, хоть и не понял ничего.

— А когда их привезут? — подал голос совсем еще молоденький боец.

— Сегодня. К вечеру, — глухо отозвался Мюльгаузен.

— Неужто так никто и не уцелел?

Мюльгаузен промолчал. Минуту назад яростный, тугой, как сжатый кулак, он вдруг расслабился, жалко сгорбился и молча, осторожно протискавшись между бойцами, пошел к двери. В казарме повисла гнетущая тишина. Никто не смотрел в глаза друг другу.

Еламан, ничего не поняв, потолкался немного еще среди бойцов, потом пошел к своей постели. Лег, подмял поудобней жесткую комковатую подушку и прикрыл глаза. Поблескивая сквозь ресницы зрачками, он стал глядеть в потолок и думать об Акбале. Сейчас она, наверное, уже пришла домой. Чего ему было не подождать ее? Интересно, что ей сказали малыши о нем? Приходил какой-то высокий дядя, искал ее? Раздумывая об Акбале, Еламан и не заметил, как смежилась его веки. Рука его соскользнула со спинки топчана и повисла...

Вечером отряд, построившись, пошел на станцию. Там уже собрался чуть не весь город. Стояли молча, с томительным ожиданием посматривая на запад. Скоро вдалеке показался лоснящийся бойкий паровозик с единственной красной теплушкой. Жарко дыша паром, шипя, остановился он на станции. Народ на перроне зашевелился. Вытянувшись, Еламан с тревогой, напряженно глядел на паровоз.

Из кабины машиниста стал спускаться по металлической лесенке мрачный человек. Подкованные сапоги его громко стучали в тишине. Ни на кого не глядя, он подошел к вагону. Толпа всколыхнулась, подалась поближе и опять замерла. Со скрипом откатилась дверь, а за дверью, уложенные в ряд, видны были изуродованные, окровавленные трупы. Над толпой раздался вой сначала одной женщины, потом другой, третьей... Мужчины отворачивались, моргали, закрывали лица. В глаза Еламану бросилась дико кричащая молодая женщина. Ее держали под руки, она рвалась к вагону, но тут же обвисала на руках.

Еламану было знакомо ее лицо, но он никак не мог припомнить, кто это. Около нее оказался почему-то Ознобин. Со вчерашнего дня он неузнаваемо изменился, щеки провалились, редкие волосы были встрепаны, тощая шея напряжена и несчастна. Он стал было говорить что-то бывшей женщине, но не договорил, всхлипнул и стал пробираться к вагону. Он протискивался, как слепой, на ощупь, глаза его закатывались вверх. Ему говорили что-то со всех сторон, но он не слушал, отмахивался.

Расталкивая людей, Еламан стал пробиваться к Ознобину и догнал его возле самого вагона. Он подхватил ста-

рика под руку, но тот не заметил, не повернул даже головы. Ознобина, когда он карабкался в вагон, поддержало еще несколько рук. Среди окровавленных тел Еламан узнал однорукого сына Ознобина. У старика сразу запотели стекла очков. Он медленно опустился на колени возле сына, стал разглядывать его, потом дрожащей рукой осторожно погладил того по волосам, по лбу, по щекам.

— Андрю... Андрю... шенька... — услышал Еламан задыхающийся голос старика.

Тела убитых стали выносить из вагона. На перроне убивались матери, бросаясь к сыновьям, голосили жены, ревели на разные голоса ребятишки. Еламану стало так страшно и одиноко, что захотелось плакать, как в детстве. Много смертей повидал он на своем веку и только бледнел, только вздрагивали ноздри, тяжелей и сумрачней становился его взгляд. А сейчас он так ослабел, что слезы подступили к горлу, и он уже не мог видеть ничего вокруг, будто и он вместе со всеми потерял самого близкого человека.

Несколько человек, мешая друг другу, подняли сына Ознобина, стали выносить.

— Лицо, лицо-то... Хоть бы лицо прикрыли, господи! — раздались голоса.

Еламан быстро снял с себя шинель, и, спрыгнув на перрон, прикрыл изрубленное шашками тело младшего Ознобина.

IV

Еламан дважды ходил в Совдеп, но оба раза Селиванова на месте не оказывалось. Каждый раз, не отрывая глаз от бумаг, секретарша отвечала:

— Товарищ Селиванов ушел в депо на митинг...

Еламан, подумав, пошел в депо. На улице вокруг депо не было ни души. Зато внутри громадное здание было переполнено народом. От самых ворот, широко распахнутых, плотно стояли рабочие в черной замасленной одежде. В глубине, затянутой сероватым дымком, тускло темнел потухший паровоз. Оттуда же доносился звонкий, бойкий голос, складно лилась непрерывная речь. Еламан, выставив здоровое плечо, стал протискиваться на голос сквозь толпу. На него недовольно оглядывались, тихо поругивали. Еламан только виновато улыбнулся в ответ. Наконец он уперся в спину рослого детины. С трудом подавшись в сторону, Еламан увидел оратора, который так быстро и звонко

говорил. В глубине на наспех сколоченной трибуне держал речь Селиванов. Еламан давно его не видел и теперь удивился, что тот ничуть не изменился за это время. Он жестикулировал, взмахивал плавно рукой, и каждый раз, когда он поднимал, потрясая, руку вверх, из-под рукава выскальзывало тонкое, как у подростка, запястье. Селиванов старался казаться старше, принуждал себя говорить баском, но голос его не слушался и звенел совсем по-юношески.

Еламан уже неплохо понимал разговорную русскую речь, но когда говорили о вещах сложных или отвлеченных, тем более быстро и долго, он терялся в обилии слов. И теперь он даже щурился от напряжения, стараясь понять, о чем идет речь. Он начал слушать Селиванова с середины и поэтому скорее догадывался, чем понимал, что тот говорил о богатых и бедных, которые, будто огонь с водой, схлестнулись в классовой битве, о непримиримой вражде их, о предстоящих кровопролитных боях. Говорил о безвестных и беззаветных бойцах, которые еще в давние годы сложили свои головы за свободу и справедливость на земле.

Еламан видел, как у многих хмурились лица и гневно раскрывались глаза. Его самого бросало то в жар, то в холод, и он вспоминал вчерашний вечер и окровавленные, изрубленные тела рабочих бойцов.

После митинга, забыв, что пришел к Селиванову, Еламан один отправился к себе. Он шел серым вечером такой же понурый, как и десятки других людей, расходившихся с митинга. В голове у него возникали никогда не тревожившие его раньше мысли. И это было для него так неожиданно и ново, что он останавливался несколько раз в изумлении, потом качал головой, усмехался и шел дальше.

Он думал, что вот испокон веков населяли землю разные народы и что народы эти были в чем-то схожи, а он раньше не думал об этом. Народы эти не общаются друг с другом и не знают ничего друг о друге, но ведь живут они под одним небом, и потому в жизни их должно быть много общего, общих радостей и печалей. А между тем, что знали, например, о русских его отцы и деды? Всегда говорили одно и то же, что русские — кафыры, иноверцы. Недоверие и даже ненависть были у казахов к русским. Но понимали ли они душу этого народа, знали ли его тревоги и беды? А вот, оказывается, и у русских были свои бедняки и свои баи, и у русских были свои батыры, как Жауходжа-батыр или Срым-батыр, которые в час великих испытаний бросали гордый клич и звали свой народ на борьбу. А сколько, оказывается, было у русских храбрых бунтарей, всю жизнь